

Кирилл Далов

Иди на мой ГОЛОС



Кирилл Далов

Иди на мой голос

«Автор»

2026

Далов К.

Иди на мой голос / К. Далов — «Автор», 2026

У Тимура есть всё: заводы, деньги, большой дом на десять спален. Нет одного — тепла. Сорок лет назад он замуровал в лёд собственное сердце, чтобы не было больно. Однажды ночью он засыпает — и просыпается внутри собственного сна. Там его ждут двое. Женщина с грустными, но очень красивыми глазами, которая приносит ему кофе и почему-то зовёт по имени, будто знает сто лет. И человек в сером пальто, застёгнутом на все пуговицы, — спокойный, вежливый, почти заботливый, — который тихо предлагает Тимуру вернуться в лёд. Чтобы спасти себя, своё дело и тех, кого впервые за сорок лет осмелился впустить в сердце, Тимуру придётся пройти шесть миров-снов — шесть запертых комнат собственной души. А в последней — встретиться лицом к лицу с тем, кого он боится больше всех на свете. С самим собой. Роман о человеке, который проспал собственную жизнь и решился наконец проснуться. О цене тепла и цене холода. И о том, что самый смелый поступок в жизни — иногда просто позволить себе почувствовать.

© Далов К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Кирилл Далов

Иди на мой голос

Глава

Иди на мой голос

роман · Кирилл Далов

Пролог

Уговор

Ещё не было ни времени, ни пространства — а они уже были.

Две энергии, бесконечно огромные и бесконечно малые разом, неслись сквозь то, что ещё не стало ни «где», ни «когда», и вели беззвучный разговор — без слов, потому что слова ещё не родились, да и не нужны были: так понимают друг друга только две половины одного целого, когда-то разъятого надвое.

Им снова предстояло облечься в плоть. Разойтись по мирам, забыть себя, сделаться маленькими, отдельными, смертными — и не помнить, что были одним. Так уже случалось прежде. Так, наверное, случится ещё не раз.

Но перед тем как разъединиться и пасть в тяжёлую, беспамятную материю, они дали друг другу слово. Что найдутся. Что бы ни было, сколько бы ни длилось, через сколько бы миров, тел и жизней ни пришлось пройти, — найдут друг друга снова. Потому что быть врозь — случайность. А быть вместе — судьба.

— А как же я найду тебя? — спросила одна, уже чувствуя, как её затягивает вниз, в плотное, в отдельное.

— Не спрашивай «где», — ответила другая. — «Где» ничего не значит. Мы можем вспыхнуть в разных мирах, по разные стороны от всех времён, — и всё равно сойтись. А можем оказаться на расстоянии одного вдоха — и пройти сквозь друг друга, не узнав. Место обманет всегда. Спрашивай не «где». Спрашивай — «когда».

— Когда же?

— Когда придёт срок, — сказала другая. — Не раньше. Однажды один из нас забредёт так далеко от себя, что почти погаснет, — вот тогда всё и решится. Большие не спрашивай: если знать заранее, не узнаешь потом вживую. Ты не увидишь меня — лица у нас будут чужие, каждый раз новые. Ты меня узнаешь не глазами. По чему-то, что глубже лица. По нелепому, необъяснимому чувству, что мы знакомы не сто лет, а гораздо, гораздо дольше.

— А если я не узнаю? Если пройду мимо?

— Тогда я позову, — сказала другая. — Я найду тебя первой и стану звать — столько раз и столько жизней, сколько понадобится. Ты только слушай. И иди на мой голос.

— Услышу, — сказала одна, уже растворяясь, падая в мир, во время, в забвение. — Как бы далеко ни забрёл, как бы крепко ни спал — услышу твой голос и пойду. Обещаю.

И оба забыли.

А в некоторых мирах эти две энергии называли — душами.

Глава первая

Человек, у которого было всё

Дом был большой. Такой большой, что по утрам Тимур иногда здоровался с собственным эхом — и эхо, надо признать, отвечало теплее, чем он сам.

Десять спален. Две гостиные. Кабинет с видом на озеро, в который он заходил дважды в год. Погреб, где пылились бутылки, купленные не для того, чтобы пить, а для того, чтобы они были. Дом проектировали под большую, шумную, счастливую семью — так, во всяком случае, обещал архитектор, разворачивая перед ним чертежи десять лет назад. Семья не случилась. Остался дом. И Тимур в нём — как последний экспонат в музее, который забыли запереть на ночь.

Валентина Петровна, экономка, считала это диагнозом.

— Вам бы жену, Тимур Дамирович, — сказала она, ставя перед ним кофе ровно в семь ноль три, как он любил: чёрный, без ничего, как его расписание. — Дом на десять спален, а живёте, как сторож на маяке.

— У меня есть вы.

— Я вам не жена. Я вам совесть. Разница в зарплате. — Она поправила салфетку, которую он не тронет, и кухонное полотенце на плече, которое носила как погоны. — И совесть говорит: вы опять не спали.

— Спал.

— Три часа — это не спал. Это моргнул. — Она смотрела на него поверх очков тем взглядом, каким смотрят разом и на детей, и на начальство: сверху вниз, независимо от роста. — Лицо серое.

— У меня всегда серое.

— Вот я о том же.

Тимур не ответил. Он вообще редко отвечал на то, что было правдой. Он смотрел в окно, где над зелёной лужайкой поднимался туман, и лужайка была идеальная — он платил за это идеальному человеку по имени Егор, — и дом был идеальный, и кофе был идеальный, и жизнь, если посмотреть со стороны, тоже была идеальная.

Со стороны. Тимур давно жил со стороны.

— Дети сегодня придут, — сказала Валентина Петровна, не оборачиваясь, домыывая и без того чистую чашку. — Соня и Мишка. К обеду их мать привезёт. Не забыли?

— Не забыл.

Он никогда ничего не забывал — это, собственно, и было проблемой. Он просто складывал всё, что не решалось цифрами, в дальний ящик, куда не заглядывал. Там уже не закрывалось.

— Тогда, может, сегодня без телефона хоть за столом? — сказала она. И, зная ответ заранее, добавила тише, для себя: — Что я спрашиваю.

* * *

Телефон вздрогнул ровно в тот момент. Костя.

Финансовый директор Тимура начинал день не с «доброго утра», а с диагноза — за это Тимур его и держал. Двадцать лет назад они вдвоём начинали компанию в арендованном закутке, где зимой примерзал чай. Теперь компания поставляла точные комплектующие туда, где ошибка в сотую долю миллиметра стоила репутации, а Костя по-прежнему был единственным человеком, которому позволялось говорить Тимуру «нет».

— Плохо, — сказал Костя.

— Насколько.

— На «выпей кофе сначала».

— Уже пью.

— Тогда так. «Аргус» подписывают в пятницу. Если подпишут — мы дышим год. Если нет — мы... не дышим. — Костя выдохнул в трубку так, будто это Тимур должен был его успокаивать. — Ты же понимаешь, «Аргус» — это половина оборота. Уйдут они — за ними посыплются остальные, как костяшки. Люди, Тимур. Триста человек, у которых ипотеки и дети.

— Понимаю. Что ещё.

— А ещё... — Костя помедлил, и Тимур услышал, как он там, у себя, потёр лицо. — У меня нехорошее чувство по заводу Морозова. Не могу пока сказать почему. Отгрузки идут, бумаги в порядке, а чувство — поганое. Как перед грозой, когда небо ещё чистое, а собаки уже под стол лезут.

— Чувства к делу не пришьёшь, Костя.

— А ты попробуй иногда, — буркнул Костя. — Может, полезно. Тебе б хоть одно чувство завести, для разнообразия.

— У меня их полный штат. Все на зарплате. — Тимур почти улыбнулся. — Копай Морозова. К вечеру доложи.

Он положил трубку. Валентина Петровна смотрела на него поверх очков.

— Что? — спросил он.

— Ничего. Просто когда вы говорите про завод, у вас лицо живее, чем когда про детей. — Она вытерла руки. — Я не в укор. Констатирую.

Она ушла в кухню, оставив это висеть в воздухе, как умела только она.

* * *

Дети приехали к обеду.

Мишке было девять, и он влетел в дом, как маленький ураган в кроссовках, и обнял Тимура так, будто это было самое обыкновенное дело на свете — обнимать. Тимур постоял, держа руки на весу над спиной сына, будто не был уверен, куда их деть, а потом всё-таки опустил — коротко, неловко, на секунду.

— Пап, а у нас в школе кот живёт! Настоящий! Его зовут Профессор, он серый и толстый и спит прямо на учительском журнале, и его никто не сгоняет, представляешь, даже завуч!

— Хорошая стратегия, — сказал Тимур. — Спать там, где не сгоняют.

— Ага! — обрадовался Мишка, не уловив, что отец, кажется, говорил про себя. — А ещё он один раз залез в мешок с формой на физру и его унесли в другой класс, и он там жил два дня, и все думали, что он новенький кот!

Тимур слушал про кота — про то, как Профессор перебрался жить в другой класс, про то, кто кого поцарапал в четвёртом «Б», — и ловил себя на странном: ему не было скучно. Тревожно — да, будто он делал что-то, чему не обучен, но не скучно.

Соне было пятнадцать, и она вошла медленно, глядя в телефон, — не потому что там было что-то важное, а потому что телефон, в отличие от отца, не задавал вопросов и не ждал правильных ответов.

— Привет, пап.

— Привет. Как школа.

— Нормально.

— Оценки.

— Пап. — Она наконец подняла глаза, и в них было столько взрослой усталости, что у Тимура на секунду сжало горло. — Ты хоть раз спросишь что-нибудь, кроме оценок?

Он открыл рот. Внутри было много всего — целый океан всего, накопленного за годы, которые он провёл где угодно, только не рядом, — но наверх, как всегда, поднялось только сухое и безопасное.

— Ну. Как... ты.

Секунду ему казалось, что она ответит. Что вот сейчас скажет что-то настоящее, и он подхватит, и они как-нибудь выберутся из этой мерзлоты вдвоём.

— Поздно, — сказала Соня. Не зло. Хуже. Спокойно. Как закрывают дверь, которую больше не собираются открывать. И ушла в свою комнату — которая когда-то была её комнатой, а теперь стала комнатой, куда она приезжала два раза в месяц.

Тимур остался в огромной гостиной. Мишка возил по полу машинку и озвучивал многомашинную аварию с жертвами. Валентина Петровна гремела чем-то на кухне, нарочито громко, чтобы не слышать того, что и так было слышно. Дом был полон людей, которых он любил, — и никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким, как среди них.

Он не знал, что с этим делать. Он умел покупать заводы. Он умел выигрывать переговоры, где напротив сидели люди страшнее его. Он умел не спать по трое суток и держать лицо, когда всё горит. Он не умел одного — сказать пятнадцатилетней девочке «я скучаю по тебе», когда она стоит в двух метрах и ещё, может быть, ждёт этих слов.

Вечером их забрали. Мишка обнял на прощание, Соня махнула, не отрываясь от экрана. Дверь закрылась, и дом выдохнул привычной, отлаженной тишиной, за которую Тимур когда-то так дорого заплатил.

* * *

Ночью он, как обычно, не спал.

Лежал в темноте огромной спальни и слушал дом. Где-то капал кран — идеальный дом, а кран капал, и это было единственное, что в нём жило по ночам. Где-то тикали часы. Где-то, очень далеко и очень близко, тикал он сам — и Тимур впервые за долгое время поймал себя на странной, детской, невозможной мысли, из тех, что приходят только в три часа ночи, когда защита спит:

«Я бы всё отдал, чтобы хоть где-то было тепло».

Он даже усмехнулся в темноту — сентиментально, глупо, не по-взрослому. И тут же отмахнулся: устал, вот и лезет всякое. Завтра «Аргус», завтра Морозов, завтра сто дел.

Он не знал, что это была не мысль. Это был стук в дверь — тихий, изнутри, из той комнаты, которую он замуровал так давно, что забыл, что она вообще есть.

И кто-то — где-то очень далеко, за краем всего, — этот стук услышал. И приготовился.

Тимур закрыл глаза.

И проснулся стоящим посреди собственной приёмной в три часа ночи.

Глава вторая

Приёмная в три часа ночи

Тимур не верил в глупости. В сны — тем более. Сон был тем, что случалось с телом, пока разум работал: перебирал сделки, считал риски, готовил лица под разные разговоры. Полезная утилизация простоя, не более. Поэтому, обнаружив себя стоящим посреди собственной приёмной — а он откуда-то знал, что сейчас три часа ночи, хотя часов ещё не видел, — он первым делом раздражился.

Приёмная была правильной. Настолько правильной, что это-то и настораживало. Тот же серый ковролин, который он сам когда-то выбрал за то, что на нём не видно грязи и чувств. Те же дипломы на стене, развешанные по линеёчке. Тот же запах — кофе, бумаги и чуть-чуть амбиций, застоявшихся, как воздух в переговорной под вечер. Всё как днём. И всё-таки не так — как бывает похож на человека его восковой двойник: черты те же, а жизни нет. Или, наоборот, есть какая-то другая, которой днём не бывает.

За стойкой, там, где в его приёмной положено сидеть секретарю, сидела женщина.

Тимур мог поклясться, что видит её впервые в жизни, — и одновременно, необъяснимо, знал, что видел её всегда. Она улыбалась ему широко, тепло, по-настоящему — так, как ему, кажется, не улыбался никто и очень давно; так улыбаются не клиенту и не начальнику, а своему, которого ждали.

— Доброй ночи, Тимур Дамирович, — сказала она. — Вы рано. Или поздно. Тут это, в общем, одно и то же.

— Кто вы, — спросил Тимур ровно, тем голосом, которым сообщал, что в отчёте не сходятся цифры. — И почему сидите в моей приёмной в три часа ночи.

— А почему сидите вы? — Она склонила голову набок. — Меня, кстати, зовут Марина. Запомните. Пригодится.

Хороший вопрос. Тимур не нашёл ответа и решил, что искать его — ниже его достоинства. Он посмотрел на настенные часы. 3:00. Отвёл взгляд к столу секретаря, машинально поискал ежедневник, которого там не оказалось. Снова поднял глаза на часы.

11:47.

Он замер.

— Это, — сказал он спокойно, — неправильно.

— Ой, да бросьте, — Марина махнула рукой. — У вас полжизни всё неправильно, и ничего, держитесь молодцом.

Тимур медленно подошёл к часам. Профессиональная выдержка требовала объяснения, и разум услужливо подал сразу три: переутомление, микросон, скачок давления. Всё логичное. Всё безопасное. Он почти успокоился на этом — и тут цифры под его взглядом задрожали, поплыли и стекли вниз по стене, оставляя мокрый чёрный след, будто им стало неловко за самих себя.

Другой человек — тот, что обычно молчал и сидел где-то за грудиной, — тихо сказал: а может, ты просто спишь.

— Абсурд, — сказал Тимур вслух. Больше для порядка.

— Конечно абсурд, — легко согласилась Марина. — Проверьте.

— Что проверить.

— Руки. Всегда руки. Классика жанра.

Тимур посмотрел на свои руки — не чтобы поверить, а чтобы опровергнуть эту чушь раз и навсегда, как опровергал невыгодные предложения: быстро, окончательно и с лёгким презрением к тому, кто их внёс.

На каждой руке было по шесть пальцев.

Он их пересчитал. Потом ещё раз, медленно, тыкая взглядом в каждый. Математика была безжалостна и лишена чувства такта. Шесть. И шесть.

— Так, — сказал Тимур.

Он не закричал. Он вообще редко кричал — крик означал потерю контроля, а контроль Тимур не терял даже во сне, что, как выяснялось ровно в эту секунду, было отдельной, довольно печальной характеристикой.

— Обычно на этом месте люди паникуют, — заметила Марина с искренним интересом, подперев подбородок ладонью. — Или радуются, начинают летать, требовать миллион. А вы считаете пальцы. Дважды. Вы прелесть, честное слово.

— Я сплю, — сказал Тимур. Не вопрос. Вывод, подшитый к делу.

— Наконец-то. — Марина откинулась в кресле, довольная, как учитель, у которого самый упрямый ученик вдруг сам решил уравнение. — Знаете, сколько лет я жду, когда вы это заметите?

— Ждёте? — Тимур нахмурился. — Мы с вами знакомы четыре минуты.

— Ой, Тимур. — Она посмотрела на него так мягко, что ему стало не по себе — не от страха, а от того давно забытого чувства, когда тебя видят насквозь и почему-то всё равно рады. — Гораздо, гораздо дольше, чем четыре минуты.

Приёмная будто выдохнула. Стены чуть отступили, свет стал гуще и золотистее, и из-за двери его кабинета — той самой, за которой он провёл лучшие годы, подписывая то, что считал важным, — донёсся звук. Не то океан. Не то далёкая толпа. Не то ветер в проводах. Не то всё сразу — большое, живое, дышащее.

— И давно я так умею, — спросил Тимур. Спрашивать было больше не у кого, а привычка задавать вопросы тому, кто владеет информацией, у него была вьёвшаяся.

— Всю жизнь, — сказала Марина. — Просто вы были заняты.

Она сказала это без всякого укора, буднично, как говорят о погоде. И перешла, он только теперь заметил, на «ты» — и это почему-то не возмутило его, а наоборот, будто кто-то расстегнул тесный воротник, который он носил, не снимая, с самого рождения.

— А ты кто? — спросил он. — На самом деле.

Марина не ответила. Она посмотрела мимо него, в глубину приёмной, туда, где тонула во мраке дверь его кабинета, — и её глаза, тёплые и весёлые секунду назад, вдруг стали другими: грустными, но очень красивыми, и на миг потемнели, будто разглядывали что-то далеко-далеко, за стенами, за домом, за всей его жизнью. Тимур, который за всю жизнь не замечал в людях таких мелочей, зачем-то заметил эту. И зачем-то не забыл.

Потом она моргнула — и снова стала прежней, лукавой.

— Тебя ждут, — сказала она, кивнув на дверь. — Давно.

— Кто?

— Тот, кого ты запер, чтобы построить всё это. — Она обвела рукой приёмную, дипломы на стене, а вместе с ними, кажется, и дом, и компанию, и всю его аккуратно достроенную жизнь. — Иди. Только предупреждаю: за этой дверью не будет кабинета.

Тимур посмотрел на дверь. Логичный человек в нём в последний раз, для порядка, потребовал немедленно проснуться, принять душ и ехать готовиться к «Аргусу», а не участвовать вот в этом. Но из-под двери тянуло тем самым — солью, ветром, чем-то живым и огромным, чего в его жизни не было очень, очень давно. И впервые за очень долгое время сдержанному, толстокожему, привыкшему рассчитывать только на себя человеку стало не страшно.

Ему стало любопытно.

Он взялся за ручку. Она была холодной — по-настоящему, до ломоты в пальцах, так что он даже усомнился на секунду, что спит.

— Марина, — сказал он, не оборачиваясь. — Если это сон, почему у меня так колотится сердце?

— Потому что, — тихо сказала она за спиной, — оно наконец-то включилось.

Он толкнул дверь.

За ней не было кабинета.

Глава третья

Ледяная крепость

За дверью не было кабинета. За дверью была зима.

Тимур стоял на снегу в одной рубашке и не мёрз — во сне не мёрзнут, пока не вспомнят, что должны. Небо было белым, снег был белым, и тишина стояла такая плотная, что её, казалось, можно резать ножом и подавать к чаю. Ни ветра, ни птицы, ни следа. Мир, из которого аккуратно вынули всё лишнее. В том числе — тепло.

— Ну и куда мы пришли, — сказал он, и голос его лёг в тишину, как камень в снег: без эха.

— А ты посмотри, — сказала Марина.

Она стояла рядом — только теперь на ней был пуховик поверх строгой блузки и совершенно нелепые оранжевые варежки, которые в этом белом безмолвии выглядели как единственное живое пятно на всю вселенную. В руках она держала два стакана с чем-то горячим, от которых поднимался пар. Один она протянула Тимуру. И посмотрела вдаль, за белое поле, туда, где небо сходилась со снегом, и глаза её — грустные, но очень красивые — чуть скосились, будто разглядывали что-то на самом краю видимого. Тимур зачем-то снова это отметил. И зачем-то опять не забыл.

— Что это, — спросил он, беря стакан.

Он поднёс его к лицу — и замер.

Он знал этот запах. Он пил это однажды, много лет назад, в какой-то поездке, в крохотной кофейне на углу, чьё название так и не запомнил, — и тогда, помнится, подумал, что вкуснее

на свете не бывает. Он даже, по вьедливой своей привычке всё раскладывать по полочкам, разобрал тогда состав: смесь робусты и арабики, а поверх — тёплый, невозможный, сдобный аромат бельгийской вафли. Он потом искал этот кофе. Спрашивал в командировках, гонял помощников, заказывал зёрна со всего света. И не нашёл ни разу. С годами почти убедил себя, что придумал его.

А теперь держал в руках. Во сне.

— Откуда, — сказал он тихо. — Откуда у тебя именно этот кофе.

— В хорошем сне всегда должен быть хороший кофе, — Марина пожала плечами, будто это было самое очевидное на свете. — А у тебя, Тимур, наконец-то хороший сон. Первый за сорок лет. Пей, пока тёплый.

Тимур хотел понять систему — где взялся кофе, откуда она его знает, что вообще происходит. Он поднял глаза, чтобы спросить, — и все вопросы вылетели разом.

Впереди, до самого белого неба, поднималась крепость.

Лёд — гладкий, синий, без единого шва, без единого окна. Огромная. Строгая. Красивая той красотой, от которой становится не тепло, а страшно, — красотой сейфа, красотой могильной плиты. Холод от неё шёл такой, что у Тимура свело зубы за десять шагов.

— Впечатляет, — признал он, потому что это было правдой. — Кто строил?

— Ты.

— Я не строю крепостей, Марина. Я строю бизнес.

— Одно и то же, — она отпила кофе. — Просто у бизнеса лучше сайт.

Он пошёл вдоль стены — методично, как искал бы слабое место в чужой позиции на переговорах: без особой надежды, но по вьевшейся привычке не сдаваться, пока не проверил всё. Логичный человек в нём отмечал факты: стена идеальна, швов нет, входа нет, обойти нельзя — она уходит за горизонт в обе стороны. Другой человек, тот, что молчал за грудиной, отмечал совсем иное: за стеной было очень тихо. Слишком тихо. Так тихо бывает только там, где кого-то очень давно перестали ждать.

— Там кто-то есть, — сказал Тимур. Не вопрос.

— Всегда был.

Он приложил ладонь ко льду. Холод не обжёг — он был странно родным, знакомым, как собственное отражение в тёмном окне поезда. И тогда он увидел: в толще стены, вмёрзший, как муха в янтарь, стоял мальчик. Лет семи. В хорошей одежде — в слишком хорошей, из той, что покупают не по достатку, а назло достатку, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что семье трудно. Мальчик не плакал. Он не звал. Он просто стоял и ждал — ровно, спокойно, привычно, — как ждут те, кто давным-давно смирился, что не придут.

Тимур узнал ботинки. Он помнил, как они жали. Помнил, как терпел и не говорил, потому что жаловаться было нельзя — жаловаться значило признать, что трудно.

— Так, — сказал он. Голос сел на середине слова и дальше не пошёл.

— Ты построил это вокруг него, — тихо сказала Марина, и вся ирония ушла из её голоса, как уходит краска с лица. — Когда стало слишком холодно, ты решил, что проще не чувствовать вообще. Что если заморозить — то и не больно. И чтобы ему не так одиноко было мёрзнуть, ты замёрз вместе с ним. Помнишь, ты гордился, что у тебя толстая кожа? Что тебя ничем не проймёшь? Так вот она. Она не пускает внутрь холод. И тепло не выпускает наружу. Внутри всегда зима.

Тимур деловито осмотрел стену — сверху вниз, слева направо. Профессиональная привычка: есть проблема — ищется решение.

— Чем её ломают, — спросил он.

— Никак. Лёд не ломают. — Марина пожала плечами. — Его греют.

— Это непрактично. Это долго.

— Это единственное, что вообще работает. — Она посмотрела на него без усмешки. — Ты, между прочим, всю жизнь пытался решать тёплые задачи холодными методами. Детей — деньгами. Одиночество — работой. Как успехи?

Он не ответил. Ответом была вся его жизнь, и Марина это прекрасно знала.

И тут стало холоднее.

Не образно — по-настоящему: температура упала так, что кофе в стакане подёрнулся у краёв тонкой корочкой льда. На белом, у самой границы видимости, там, куда только что смотрела Марина, стояла фигура. Высокая, спокойная, в длинном сером пальто, застёгнутом на все пуговицы до самого горла. Лица было не разглядеть — оно словно ускользало, стоило взглянуть. Но голос донёсся отчётливо, будто говорили над самым ухом, — ровный, вежливый, почти заботливый.

— Не советую, — сказал он.

Тимур обернулся.

— А вы кто.

— Тот, кто это построил. Вместе с тобой. — Фигура не приближалась. Ей и не нужно было. — Подумай сам, спокойно, как ты умеешь. Стена стоит сорок лет. За неё ни разу никому не удалось сделать тебе больно. Ни одно предательство не прошло внутрь. Ни одна потеря не свалила тебя с ног. Разумно. Надёжно. Я бы даже сказал — эффективно. Ты ведь ценишь эффективность.

— Ценю, — сказал Тимур. Против воли — честно.

— Тогда мы с тобой поймём друг друга. — В голосе появилась почти нежность, от которой стало ещё холоднее. — Оставь как есть. Мальчику там спокойно. Он уже не ждёт — а это, поверь, милосерднее любого ожидания. Тебе тоже спокойно. Тепло переоценивают, Тимур. Тепло — это ведь просто предисловие. За теплом всегда идёт холод, и чем теплее было, тем больше потом. Я тебя от этого избавил. Бесплатно. Навсегда.

Марина рядом молчала, и Тимур впервые видел её напряжённой — она смотрела на серого так, как смотрят на того, кого хорошо знают и по-настоящему боятся.

И — страшно признаться — человек в сером был прав. Тимур чувствовал это всем своим выверенным, просчитанным нутром. Сорок лет система работала без сбоев. Ни одного предательства. Ни одной потери, после которой он не смог бы наутро встать, побриться и поехать на работу. Тепло действительно переоценивают. Он знал это лучше всех.

— Вы говорите точь-в-точь как я, — тихо сказал Тимур. — Всю мою жизнь.

— Разумеется, — мягко согласился тот. — Я и есть лучшая твоя часть. Та, что тебя берегла, пока ты был слишком мал, чтобы беречь себя сам. Ты мне ещё спасибо скажешь.

И Тимур ему поверил. Всем усталым сорокалетним весом поверил. Он посмотрел на мальчика, кивнул своим мыслям — и сделал шаг назад. К двери. К понятному, холодному, безопасному. Домой.

— Умница, — почти нежно сказал человек в сером.

И в этот момент мальчик во льду шевельнулся. Впервые. Поднял голову — медленно, будто это стоило ему последних сил, накопленных за долгие годы неподвижности, — и посмотрел на Тимура.

У мальчика были глаза Сони.

Тимур замер. Моргнул — и это снова был он сам, семилетний. Моргнул опять — Мишка, с его нелепым школьным котом и руками, которые он уже учился держать на весу. Опять — Соня, пятнадцать лет, «поздно», сказанное так спокойно, что резало до сих пор.

И тогда он увидел то, чего не видел годами. От крепости, тонкими белыми венами, во все стороны расползлся лёд. Он тянулся мимо них — за спину, к двери, в явь. К его дому. К его детям. Соня уже клала первый ряд своей стены, кирпичик за кирпичиком, «нормально»

за «нормально». Мишка ещё обнимал — но уже учился, глядя на отца, что руки при этом полагается держать на весу.

Он передавал это дальше. Свой холод. По наследству. Как ботинки, которые жмут.

— Нет, — сказал Тимур тихо.

— Что «нет»? — не понял человек в сером.

— За себя — оставил бы. — Голос у Тимура стал ровным, тем самым, каким он говорил перед самой важной сделкой в жизни. — Мне и вправду так безопаснее, ты прав. Я бы простоял в этом льду до самой смерти и не пикнул. Я привык.

Он поставил стакан на снег и начал расстёгивать рубашку.

— Но они — нет. Их я тебе не отдам.

Человек в сером перестал быть вежливым.

Он не крикнул — просто поднял руку, и мир послушался его, как вышколенная, привыкшая к порядку собака. Небо треснуло вдоль, будто по нему провели ножом. Снег вскинулся сплошной ревущей стеной. Из крепости, из каждой её синей грани, выстрелили ледяные иглы — длинные, тонкие, злые, тысячи разом — и понеслись к мальчику, к Марине, к нему. Мороз ударил в лёгкие, как кулак. Это была уже не беседа. Это было тихое, аккуратное, эффективное убийство — как всё, что делал этот человек.

— Тимур! — крикнула Марина.

И Тимур, у которого не было ни оружия, ни времени, ни единой разумной мысли, сделал единственное, что пришло в голову, — то, во что не поверил ни на секунду даже делая: он захотел, чтобы иглы остановились. Просто захотел. Всем собой, до дна. Как хотел когда-то, ребёнком, чтобы его просто приняли — живого, ни за что. Как хотел вчера, чтобы Соня осталась в комнате ещё на минуту.

Вокруг них троих вспыхнул купол — тёплый, золотистый, дрожащий, как воздух над летним асфальтом. Ледяные иглы врезались в него и с шипением стекли вниз каплями.

Тимур смотрел на собственные ладони, из которых это шло, и в голове у логичного, ни во что не верящего человека крутилась одна беспомощная мысль: «Так не бывает. Несерьёзно. У меня в девять переговоров».

— Это сон, дурак, — сказала Марина сквозь слёзы и смех. — Тут по-другому не бывает. Здесь ты и есть закон физики. Хочешь — гори, хочешь — грей. Только выбери.

И серый ударил снова.

Он бил волнами — методично, без ярости, и это было страшнее всякой ярости. Первая волна: град ледяных копий, каждое в руку толщиной; они разбивались о купол, но от каждого удара золотое вздрагивало и тускнело, как пламя на сквозняке. Вторая: буран — живой, воющий, залепляющий глаза, ищущий любую щель, как вода ищет трещину. Третья: сама земля вздыбилась под ногами ледяными зубьями, пытаясь пропороть их снизу. Тимур держал. Он не знал как — он просто не отпускал, стиснув зубы, вжимая всю свою волю в дрожащую золотую плёнку. И с каждым ударом она прогибалась внутрь, к ним, всё ближе к лицу.

— Чувствовать — значит терять, — говорил серый ровно, не повышая голоса, и голос его шёл сквозь вой прямо в череп, минуя уши. — Ты держишь купол сердцем. А сердце устаёт, Тимур. Оно всегда устаёт. Отпусти. Замёрзни. И тебе больше никогда, слышишь, никогда не будет так страшно, как сейчас.

И купол дрогнул. Потому что серый был прав: держать сердцем — невыносимо тяжело, тяжелее всего на свете. Тимур почувствовал, как уходят силы, как золото под его ладонями идёт паутиной трещин, как холод просовывает в одну из них первый белый палец.

А потом он начал просыпаться. По-настоящему. И вместе с пробуждением в него хлынуло разом всё, что он замораживал сорок лет.

Он вспомнил, как Мишка обнял его сегодня утром, а он держал руки на весу, не зная, куда их деть, — и как же на самом деле хотелось обнять в ответ, крепко, до хруста рёбер, и как он себе этого не позволил. Купол вспыхнул ярче и оттолкнул буран на шаг.

Он вспомнил Соню в пять лет — в пижаме с зайцами, как она за полночь забралась к нему на колени, уткнулась носом в холодный от улицы пиджак и уснула, счастливая просто оттого, что он вернулся. Он тогда просидел неподвижно целый час, боясь шелохнуться, и это был, кажется, самый счастливый час его жизни, а он его вычеркнул, потому что счастье не значилось в графах. Он думал, что забыл. Он ничего не забыл. Золотое загудело, налилось, окрепло.

Он вспомнил себя — того семилетнего, в жмущих ботинках, который однажды тихо решил, что если ничего не хотеть и ничего не чувствовать, то и не будет больно. И впервые не разозлился на этого мальчишку за слабость — а пожалел. Всей огромной, затопляющей, столько лет запертой подо льдом любовью.

И купол перестал прогибаться внутрь.

Он пошёл наружу.

— Что ты делаешь, — сказал серый, и впервые это прозвучало не вежливо. Почти растерянно.

— Просыпаюсь, — сказал Тимур.

Он больше не просто закрывался. Он поднял руку — неумело, недоверчиво, как ребёнок, впервые понявший, что карандаш слушается пальцев, — и золотое поле хлынуло вперёд, навстречу буре. Там, где тепло касалось стужи, воздух вскипал белым паром, шипел, гремел, как раскалённое железо в воде. Ледяные копыта таяли на лету, не долетев. Зубья под ногами оседали лужами. Тимур шёл на серого прямо сквозь его собственную зиму — и с каждым шагом в нём всплывало ещё что-то живое, давно утопленное, и каждое такое воспоминание било по холоду вернее любого оружия. Он не нападал. Он просто переставал мёрзнуть — и мир мёрз всё меньше вместе с ним.

— Долго не удержишь, — процедил серый, и в ровном голосе впервые, впервые прорезалось усилие. Он отступил на шаг. Он, который не отступал никогда.

— А мне и не надо долго, — сказал Тимур. — Мне надо один раз.

Не выходя из-под купола, он снял часы. Снял рубашку — броню, латы, «всё под контролем» — и остался голым по пояс: сорокалетний мужчина, который никогда, ни разу, ни при ком не позволял себе замёрзнуть. И ему стало холодно. По-настоящему, до костей. Впервые за долгие годы.

Тимур шагнул к стене, прижал голую грудь ко льду — туда, где стоял мальчик, — и не отстранился.

— Прости, что запер тебя, — сказал он льду, и пар от его дыхания оседал инеем на синей глади. — Я думал, так теплее. Я думал, я тебя берегу.

Лёд под его кожей потемнел и заплакал — тонкими струйками воды. Не рухнул, не треснул эффектно. Просто начал таять, медленно, нехотя, отдавая мальчику сначала лицо, потом плечи, потом руки. Было больно — так больно, как бывает отмороженным пальцам, когда их отогревают, когда кровь возвращается в то, что уже смирилось быть мёртвым. Тимур стиснул зубы и не убрал грудь.

Где-то за спиной человек в сером сказал тихо, без злости, что было куда страшнее всякой злости:

— Хорошо. Просыпайся. Оттаивай. Но знай одно, Тимур: чем больше ты будешь просыпаться, тем больше я тебе понадоблюсь. Мир холодный. Холоднее, чем ты думаешь. И однажды ты сам придёшь ко мне и попросишься обратно. Я подожду. Я умею ждать.

И исчез — просто перестал быть, как выключенный экран.

— Вот теперь ты умеешь, — сказала Марина, и в её голосе впервые не было ни капли иронии. Только что-то очень похожее на гордость. И на грусть — ту самую, что жила в её глазах.

Мальчик во льду поднял голову. Посмотрел на Тимура — долго, недоверчиво, как смотрят на того, кого ждали так давно, что уже разучились ждать. И — впервые — заплакал. Живыми, тёплыми слезами, которые дотапливали остатки стены.

Тимур обнял его. Мальчик был холодный и лёгкий, как воробей зимой, и уткнулся ему в грудь, и Тимур почувствовал, как это маленькое, промёрзшее, его собственное сердце снова начинает биться.

И проснулся.

Глава четвёртая

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.